

## АЛЕКСАНДР II И РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В июне 1865 года Александр II произнёс речь на приеме представителей Царства Польского, прибывших на похороны его старшего сына цесаревича Николая Александровича. Через несколько дней речь была опубликована в «Северной почте», и Михаил Никифорович Катков, чьи передовицы по жгучему «польскому вопросу» внимательно прочитывались императором, поспешил ознакомиться с текстом, где он рассчитывал найти отзвук своих идей. Но повода радоваться не оказалось. «...Он был совсем ошеломлён словами государя: «Я люблю одинаково всех моих верных подданных: русских, поляков, финляндцев, лифляндцев и других; они мне равно дороги». ... Когда Михаил Никифорович прочитал эти слова, «Северная почта» выпала у него из рук, руки опустились, и сам он опрокинулся на спинку кресел и впал в совершенное оцепенение, никого и ничего пред собою не видел и не слышал...» Выйдя через несколько часов (!) из этой прострации, Катков нашёл в себе силы пояснить причину своего огорчения: «в этих словах государя ... не прямо ли провозглашено им начало безнародности русской верховной власти и постановление русского народа на один уровень со всеми инородцами?»<sup>1</sup>

**На** преобразования александровского царствования можно взглянуть не только как на череду конкретных законодательных и административных мероприятий, но и как на испытание преобразовательного потенциала государства в более широком, экзистенциальном для империи смысле. Крестьянская, судебная, земская и прочие реформы 1860–1870-х годов, несмотря на отсутствие объединявшей их чёткой правительственной программы, перекрывались не всегда формулировавшейся, но от этого не менее настоятельной сверхзадачей — сделать власть и население взаимно более чувствительными друг к другу, попросту говоря, более заметными, зримыми друг для друга.

Освобождение крестьян оказало огромное влияние на политику русификации на имперских окраинах, в особенности на западных (наследие разделов Речи Посполитой) после восстания 1863–1864 годов. Реформы на окраинах становились значительной частью управленческого опыта, который вместе с чиновниками перемещался с одной периферии на другую и приспособлялся к соответствующим задачам интеграции, ассимиляции или аккультурации местного населения. В конечном счёте, воплотив националистические настроения бюрократов в практике управления, эти реформы «вернулись» с периферии в центр в виде как правительственного, так и журналистского дискурса.

С этой точки зрения не прекращающиеся в историографии дебаты о том, насколько последовательным, сознательным и убеждённым реформатором был лично Александр II, можно было бы дополнить обсуждением смежного вопроса — насколько последовательным националистом был Царь-Освободитель?

Начать надо с того, что дух русского национализма витает вокруг Александра Николаевича уже в пору его наследничества. В 1837 году он первым из наследников в истории династии совершил большое путешествие по России, в котором, в частности, воочию лицезрел — возможно, тоже первым из наследников — восторг огромной толпы, разросшийся при виде царского сына до «остервенения»<sup>2</sup>. С такими горячими чувствами правители империи до этого не очень привыкли иметь дело. В официальной репрезентации путешествие описывалось сочинённой Василием Андреевичем Жуковским метафорой «венчание с Россией». В переписке с отцом 18-летний Александр, в некотором семантическом противоречии с этим девизом, непрестанно твердит о «матушке России», к которой он с каждым днём привязывается всё сильнее: «Меня одно чувство оживляет, угодить Тебе и быть достойным Тебя, милый бесценный Папа, и нашей матушки России...»; «Нам можно гордиться, что мы принадлежим нашей матушке России, её родиной нашей называть, а Тебя, милый бесценный Папа, нашим Государем



Император Александр II.

и Отцом»<sup>3</sup>. Отец, Николай I, определённо олицетворяет империю, а «матушка Россия», явно оттесняящая на задний план живую мать наследника, — коллективное тело народа.

Александр довольно быстро усвоил, так сказать, прикладные навыки этнической классификации. В его письмах отцу довольно часты определения встреченных им людей по этнической принадлежности или происхождению, нередко с сопутствующим оценочным суждением. Прежде всего очевиден европоцентризм этой оптики. Увиденная им в Тобольске вогулка (манси) — «ужаснейший урод ... зверь, а не человек», башкиры — «все ужасные уроды», то же о «киргизских» (казахских) султанах: «киргизы» (казахи)



бросились за обедом на конину «как упыри»<sup>4</sup>. (Тому читателю, кто услышит в этих определениях простительный инфантилизм, я бы сообщил, что спустя двадцать с лишним лет император Александр назовет в переписке с братом Константином «уродами» членов прибывшего в Петербург японского посольства.) И на западе империи наследник проявляет вкус к распознаванию этничности: после приёма дворянской депутации юго-западных губерний в Киеве он пишет отцу, что они — «поляки в душе, исполняют всё, что от них требуется, а в сердца их проникнуть нельзя», причём среди них «рожи есть ужасно неприятные»<sup>5</sup>.

\*\*\*

Своеобразная логика национализма (конечно, не одна она) направляла действия взошедшего на престол в 1855 году Александра II ещё до вспышки национального конфликта на западе империи — в ходе подготовки освобождения крестьян.

Образ монарха, дарующего подданным разных сословий великое благодеяние, вдохновлял самого императора и обеспечивал законотворцам рычаги воздействия на «высочайшую волю». Слова Якова Ивановича Ростовцева, произнесённые на одном из первых заседаний Редакционных комиссий в марте 1859 года о том, что, освобождая крестьян, император «созидает» «в России народ, которого доселе в отечестве нашем не существовало», подразумевали под «народом» не только массу бывших крепостных, преданное царю крестьянство, но и всю нацию, насколько её тогда можно было вообразить единым целым<sup>6</sup>.

По контрасту с репрессивными мерами, принятыми после восстания 1863–1864 годов, политику по отношению к польским элитам, которая проводилась в первые годы правления Александра II, историки часто называли и называют примирительной. Несколько упрощая, можно сказать, что полякам разрешали быть поляками, но тем самым требовали от них лояльности России уже отчасти в национальном смысле. Уже в свой первый после воцарения приезд в Варшаву, в мае 1856 года император произнёс речь (её долго помнили впоследствии по несколько раз повторённому «*Pas de gêveries*» — «Никаких мечтаний»), где заявил, что «счастье Польши зависит от полного слияния её с народами моей империи», и призвал католическое духовенство «внушить поселянам, что счастье их зависит единственно от полного их слияния со святою Русью»<sup>7</sup>.

Отменяя прежние запреты, амнистируя участников восстания 1830–1831 годов и расширяя рамки допустимой культурной автономии польского высшего общества, император в то же самое время не давал повода усомниться в своём воззрении на соседний с Царством Польским Западный край (Литва, Белоруссия и Правобережная Украина) как на «исконно русский». А в русско-польских отношениях это был оселок, на котором проверялась степень приверженности каждой из сторон как соответствующему мифу о великом прошлом, так и видению своей идеальной этнонациональной территории. В частном порядке Александр II мог называть западные губернии «несчастливыми польскими»<sup>8</sup>, не выказывая к ним сердечной привязанности, но на публике он последовательно держался дискурса о русскости этого края. Те, кто по ассоциации с временами Александра I ожидали от него другого, быстро разочаровывались. Православный архиепископ Минский Михаил Голубович, бывший униат, оставшийся после перехода в православие человеком польской культуры (но, вероятно, всё-таки не нации), сокрушённо записывал в своём дневнике в конце 1860 года дошедшие до него слова императора виленскому губернскому предводителю дворянства: «Скажите своим, что Литва не Польша и никогда не будет с Польшею. Скажите, чтобы знали за границею»<sup>9</sup>.

Кульминацией курса на «сближение» через «любовь», стало назначение в 1862 году, уже после начала политических волнений в Варшаве и всего за полгода до собственно восстания, наместником Царства Польского великого князя Константина Николаевича, ко-

торому предстояло курировать серию важных административных и образовательных реформ, проводимых вновь назначенным главой гражданского управления Царства Польского Александром Велёпольским. В специальной инструкции, вручённой Константину при назначении, император подчеркнул, что намеченные реформы ни в коем случае не должны повести к восстановлению Конституционной хартии 1815 года и национальной польской армии, равно как и к расширению границ Царства Польского за счёт западных губерний («того, что некогда было завоевано Польшею и что польские патриоты доселе считают своим достоянием»).

Вместе с тем Александр II санкционировал дерусификацию управленческого аппарата Царства, рекомендуя только не допускать «совершенного исключения всего русского элемента», «лишь бы личности, употребляемые на службе, были того достойны, а не срамили имя русское, как то, к несчастью, слишком часто повторялось со времён кн. Паскевича». Чуть позднее он особо предостерегал Константина от приближения к себе завзятых полонофобов: «...Не позволяй, чтобы тебя окружающие на первых же порах составили как бы враждебный кружок ко всему польскому элементу... Твои подчинённые должны действовать в твоём духе и даже вопреки своим внутренним убеждениям, которых от тебя они могут не скрывать, но не должны их обнаруживать при посторонних» (кажется, этот рецепт был почерпнут из собственного опыта). В ретроспективном прочтении особенно наивно звучит следующий пункт инструкции: «Поляки вообще самолюбивы и щекотливы, но с ними нетрудно ладить, если только уметь с ними обращаться»<sup>10</sup>.

После восстания «мягкий» интеграционизм Александра II в польской политике сменился курсом на противопоставление «шляхетско-клерикальным» элитам массы «народа» (во вполне популистском смысле слова) — «истинно» польского крестьянства в Царстве Польском и крестьянства «русского и православного» в Западном крае. Главной ареной русификаторских мероприятий становится Западный край. Задача «перезавоевать» его, утвердить его русскость ставилась теперь, после отмены крепостного права, гораздо решительнее, чем даже на пике антипольских репрессий при Николае I.

Националистически настроенная часть бюрократии, представленная военным министром Д. А. Милютиным, его братом, фактическим руководителем гражданской администрации в Царстве Польском Н. А. Милютиным, министром государственных имуществ А. А. Зелёным, выступала за подрыв экономического и культурного влияния польского (а по возможности и немецкого в Остзейском крае) дворянства и укрепление в крестьянской массе, в «народе» коллективного чувства принадлежности к «русскому народу» (в значении общности великорусов, украинцев/малороссов и белорусов).

Их оппоненты — в первую очередь министр внутренних дел П. А. Валуев, управляющие III Отделением В. А. Долгоруков и П. А. Шувалов — видели в таком курсе угрозу сословной иерархии и неформальному союзу престола с элитами имперских окраин, то есть, в конечном счёте, целостности империи. Оптимальным способом реинтеграции имперского пространства им виделось введение ограниченного в правах политического представительства, более или менее элитарного по своему составу.

Как же в этих новых условиях соотносились национальные устремления Александра II и таких застрельщиков русификаторской кампании, как, например, М. Н. Муравьёв в Северо-Западном крае и Н. А. Милютин в Царстве Польском? Санкционируя весьма и весьма суровые меры, направленные против польских дворян, император старался создать напряжение между императивом этой самой «русской» суровости и собственной, по выражению С. Д. Шереметева, «изыщной безнародностью»<sup>11</sup>. Хотя начиная с 1863 и примерно до 1868 года конкретные мероприятия в сфере национальной политики на западной окраине исходили большей



частью от «милютинского» круга, император находил способы символически дистанцироваться от энтузиастов «русского дела», не дать себя отождествить с этим направлением.

Валуев имел основания считать, что император полностью разделяет с ним отвращение к радикальным антипольским мерам на западной окраине. В резолюции на валуевской записке от августа 1864 года, где доказывалась неосновательность деклараций об «исконной» русскости массы населения в западных губерниях, император писал: «Всё это справедливо и доказывает мне ещё раз, что наши взгляды совершенно одинаковы; желал бы, чтобы другие органы правительства их разделяли». В ответ на одну из самых запальчивых филиппик Валюева против действий русификаторов он заметил: «Я чувствую то же самое; я не скажу этого другим, но вам я скажу: я чувствую то же, что и вы»<sup>12</sup>. И уж совсем горько Валюеву было наблюдать за тем, как император на секретных совещаниях по важнейшим вопросам солидаризировался с противоположными взглядами: «Государь ... к глубокому и душевному моему горю, часто повторял фразы, ему нашёптанные и насвистанные Милютиным, Зелёным и К<sup>о</sup> от слова до слова. Он себе их уже усвоил»<sup>13</sup>. Как видим, даже такой изошённый аналитик, как Валюев, легко поддаётся соблазну упрощать картину, изображая монарха некоей марионеткой, жертвой недобросовестных советников.

Не вызывает сомнений, что по своим «внутренним убеждениям» или, во всяком случае, ощущениям Александр II испытывал как минимум неприязнь к крайностям русификаторской политики, особенно если речь шла о дискриминации представителей аристократии (хотя полонофилом он определённо не был). Есть свидетельства, что даже после подавления Январского восстания он ещё некоторое время не исключал восстановления автономии Царства Польского (над чем до восстания упорно работал аристократ Велёпольский)<sup>14</sup>.

\* \* \*

Современным историкам вполне очевидна связь между национальным самосознанием и сферой коллективных эмоций. С этой точки зрения Александр II выглядит современнее, чем можно представить по его внешности рафинированного гвардейца-германофила или невозмутимого викторианского джентльмена. Так, он был вполне способен не только остро переживать военные победы и поражения страны, но и связывать их с реальными или воображаемыми настроениями разных групп своих подданных. В его личных письмах нередко прорисовывается та эмоциональная матрица русского патриотизма — сочетание великодержавной гордости военной мощью и истинной отваги с изоляционистским чувством уязвимости и страхом оказаться в кольце врагов, — которая проявит себя в полную силу уже в XX веке. В 1861 году, когда поражение в Крымской войне было ещё свежей раной, император писал наследнику Николаю из Ливадии: «Мама тебе писала из Севастополя, под грустным впечатлением его развалин. Осматривая их ... ты поймёшь то чувство горести и вместе уважения к геройским его защитникам, которое они во мне возбуждали. Сердце раздирается у тех, кои, подобно мне, помнят ещё Севастополь во всём его блеске и главную его красу — наш славный Черноморский флот. Я не умру спокойным, пока не увижу его возрождения!» Спустя пятнадцать лет, в разгар Балканского кризиса, уже готовый к новой войне с Турцией, ответивший речью в Москве на подъём панславистского движения, император в письме к своей возлюбленной (а впоследствии морганатической супруге) княжне Екатерине Долгоруковой сообщал, как был рад прочитать недавние статьи Каткова, «ибо никто не умеет понять меня лучше, чем он, и почувствовать всё то, что чувствую я в такие моменты, как этот, среди общего энтузиазма, охватившего всех вследствие моей речи».

Известно, что Александр II долго колебался, прежде чем сделать решительный шаг к войне за освобождение Болгарии, но из этих слов видно, что эмоционально этот шаг совсем не был для него мучителен. В письмах той же Долгоруковой в 1876–1878 годах, включая и письма с фронта, монарх переходит с обычного для их переписки салонного французского на порой весьма солёный русский только тогда, когда надо выразить особенно интимное или сильное чувство. В частности, он не сдерживает себя в ругательствах по адресу главной соперницы в Восточном вопросе — Англии, — и используемая им лексика предвосхищает фирменный «русский» стиль самовыражения, которым прославится его сын, Александр III: «Ах! какие скоты! Признаюсь, я на них [англичан. — М. Д.] зол донельзя!»; «Вот скоты!»; и, всё-таки по-французски: «Я счастлив видеть, что ты так хорошо понимаешь всё, что вызвало во мне известие об этой новой английской подлости»<sup>15</sup>. Характерно, что император ищет понимающего адресата для выражения своих патриотических эмоций, будь это его любовница, Катков или широкая московская публика.

Национализирующий потенциал образа Царя-Освободителя мог раскрываться не только в приёмах репрезентации власти или частной переписке монарха, но и через конкретные положения той или иной реформы. Примером тому столь важный для реформы 19 февраля принцип превращения всей массы крестьян в собственников земли (собственников хотя бы в номинальном смысле). Для Великороссии эта задача решалась посредством институционализации крестьянской общины, которая облекалась теперь в административную форму «сельского общества». Наделение каждого крестьянина в составе общины земельным наделом на правах собственности, хотя на практике совершенно не даровое, преподносилось как наиболее осязаемая забота власти о массе народа; благополучатели этой царской милости мыслились костяком будущей, по преимуществу аграрной, нации.

Один из ведущих членов Редакционных комиссий, славянофил и апологет общины Ю. Ф. Самарин замечал по этому поводу: «Мы строили не на песке, а докопались до самого материка... Народ выпрямился и преобразился. Взгляд, походка, речи — всё изменилось. Это добыто. Этого отнять нельзя, а это главное»<sup>16</sup>. Насаждение общины или отдельных её административных, экономических и фискальных функций становится в 1860-х годах важным методом популистской политики на окраинах империи, причём таким методом, который зачастую позволял усилить противопоставление земледельцев корыстной и нелояльной знати.

Так, на встречах с литовскими крестьянами чиновники, устраивавшие в Западном крае школы, неизменно напоминали о «Царе-Избавителе» и подводили крестьян к вопросу, «желают ли они учить детей своих русской грамоте, то есть той грамоте, на которой написано Положение 19-го февраля, избавившее их от рабства...» Звание «дара Царского» присваивалось как земельным наделам, так и православной иконе св. Александра Невского, перед которой католики, в духе предполагаемой веротерпимости нового царствования, должны были благодарить Бога за спасение императора от выстрела Каракозова<sup>17</sup>.

Сходную роль институт (и миф) общины сыграл и в аграрных реформах, которые проводились на Северном Кавказе сразу после завершения его завоевания, в 1860-х годах. Как и в Великороссии, общинное землевладение, которое вводилось там для горского простонародья, было призвано защитить это население от «пролетаризации», соблазнов частной собственности и хищничества аристократии. Но, кроме того, оно должно было обеспечить интеграцию с имперской администрацией в рамках так называемого военно-народного управления и служить проводником того, что понималось как культурное влияние России<sup>18</sup>. Перенос той же идеи в Туркестан не привёл к созданию в долинах Амударьи и Сырдарьи собственно общинных форм землевладе-



ния, но способствовал фактической ликвидации крупной земельной собственности и её перераспределению в пользу мелких земледельцев<sup>19</sup>.

Отдельно надо отметить, что идеологема Освободителя «перехватывалась» русскими националистами непосредственно в ходе дебатов о природе русскости, о критериях принадлежности к русской нации. Один из самых заметных случаев такого рода — кампания, которую начиная с 1863 года вёл на страницах своих изданий Катков, за употребление русского языка в богослужении неправославных исповеданий, как христианских, так и нехристианских. Ближайшая цель этой меры могла усматриваться в ужесточении контроля государства за духовенством и религиозностью в вероисповедных сообществах, лояльность которых казалась сомнительной. Но Катков вписывал её в отстаиваемый им более широкий проект — русской нации как надконфессионального гражданского единства под скипетром сильной реформистской монархии. Русский язык через распространение по религиозным каналам должен был в конечном счёте послужить делу гражданского сплочения.

Наиболее настойчиво Катков добивался замены русским польского языка в так называемом дополнительном католическом богослужении, популярном среди самых разных этнических и социальных групп (а не только польской аристократии) паствы Святого престола. Его высказывание «Католик тоже может быть русским» стало своего рода девизом этой кампании. Как раз в критический момент полемики со своими противниками в бюрократии и в прессе, которые защищали традиционное определение русского как православного или указывали на опасность иноверческого миссионерства на русском языке, Катков прибегнул к образу царского дара. Намеченную меру он представил не требованием неприятного для инаковерующих новшества, а избавлением тех из них, кто захотел бы приобщиться к русской культуре, а то и вовсе стать русским, от запрета на употребление русского языка в стенах храма.

Получив в начале 1869 года конфиденциальное сообщение из Петербурга (первоисточником был Ф. И. Тютчев), что Александр II собирается прочитать все его статьи по этому предмету, Катков удвоил энергию в пропаганде грядущей царской милости: «Принуждение, поставленное во главу действия, которое, в сущности, должно быть льготой, извращает и портит его. Во всяком полезном для государства деле можно найти сторону, которая соответствует каким-либо справедливым потребностям, и во всяком деле эта льготная сторона может стать господствующим началом, направляющим всё его развитие...»<sup>20</sup>

Император внял этой подсказке насчёт льготы — во многом под влиянием аргументации Каткова он утвердил в декабре 1869 года постановление особого комитета, сформулированное весьма выразительно: «Государь Император, в отеческом попечении о своих верноподданных, без различия вероисповеданий, желая, чтобы те из них, которые родным языком своим считают русский, в том или другом его наречии, не были лишены права пользоваться им в делах своей религии, всемилостивейше разрешить

соизволил произносить в иноверческих церквях проповеди и совершать дополнительное богослужение и молитвы на русском языке». Служба на русском языке даровалась как право, но не вменялась в обязанность<sup>21</sup>.

Практика, однако, выявила двусмысленность и катковской концепции надконфессиональной нации, и царского дара. Местные чиновники, побуждая католиков-крестьян переходить в молитвах с польского на русский язык и требовать того же от своих священников, старались развеять их опасения, что за этим последует принудительное обращение в православие, очередной ссылкой на высочайшую волю: мол, государь, «даровавший миллионам своих подданных личную свободу, не желает стеснять и свободу их совести». В действительности же почва под этими опасениями была: сам Катков, призывая католиков Западного края становиться русскими, проводил черту между польским дворянством, в чьи желание и способность обрусеть не очень-то верил, и белорусским по преимуществу простонародьем, чья католическая вера, как подразумевалось, не была серьёзным препятствием к его полной ассимиляции с русским народом. Меры местной администрации по насаждению русского языка в костёлах в 1870-х годах включали в себя изрядную дозу насилия над совестью верующих, и Александр II, ниспославший дар молитвы на русском языке, лично утвердил несколько решений, которые усиливали нажим на эту часть населения, с тем, чтобы доказать во что бы то ни стало благодарное принятие ею этого самого дара<sup>22</sup>.

Итак, можно констатировать колебание Александра II между двумя версиями национальной политики, первая из которых была направлена на сравнительно мягкую, но более настойчивую, чем раньше, аккультурацию нерусских элит, тогда как вторая носила популистский характер и в силу этого предполагала скорее сегрегацию, чем интеграцию местных высших сословий в беспокорных окраинных регионах (эта линия получит развитие при Александре III).

Вопреки стереотипу безоглядно репрессивной политики «царизма» на окраинах и в особенности тезису о русификации западных окраин как «откате» от реформ начала царствования, Великие реформы не обошли стороной имперскую периферию. Другое дело, что приоритеты реформирования были там иные, чем в центре. В частности, в Западном крае были востребованы те реформы, которые, в соответствии с популистской мифологией избавления «русского народа» от «польского ига», минимизировали, насколько это было возможно при сохраняющейся сословной структуре, роль местных элит как социального и культурного посредника между властью и низами. Это были прежде всего аграрная реформа, стоившая бюрократии больших профессиональных усилий, чем в Великороссии, и развитие начального образования на русском языке, при гораздо меньшей заботе об образовании среднем и особенно высшем как атрибутах элитарной самоидентификации. По той же причине судебная, а особенно земская реформа долго пролагали себе дорогу в западные губернии.

#### Примечания

1. Из воспоминаний А. И. Георгиевского [Тютчев в 1862–1866 гг.]/Литературное наследство. Т. 97: Фёдор Иванович Тютчев. Кн. 2. М. 1989. С. 135–137. Отметим также чрезвычайно расширительное употребление слова «кинородец» в этой цитате.
2. Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год. М. 1999. С. 34, 131.
3. Там же. С. 40, 49.
4. Там же. С. 60, 62, 57, 68.
5. Там же. С. 121.
6. Освобождение крестьян в

- царствование императора Александра II. Хроника деятельности Комиссий по крестьянскому делу Н. П. Семёнова. Т. I. СПб. 1889. С. 49.
7. Татищев С. С. Император Александр Второй. Его жизнь и царствование. Кн. 1. М. 1996. С. 233–234.
8. Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина 1843–1856. М. 2000. С. 429.
9. Дыярыюш з XIX стагоддзя: Дзённікі М. Галубовіча як гістарычная крыніца. Мінск. 2003. С. 140.
10. Переписка наместников Королевства Польского. 1861–1863. [Т. 2]. Wrocław; М. 1973. С. 160–162, 175, 211–212.

11. Шереметев С. Д. Мемуары. М. 2001. С. 433–434.
12. Валуев П. А. Дневник. Т. 1. С. 292, 354–355; Т. 2. С. 151.
13. Там же. Т. 2. С. 79.
14. ОР РГБ. Ф. 120. Оп. 1. К. 22. Ед. хр. 1. Л. 102 об. (письмо В. П. Боткина М. Н. Каткову, декабрь 1864 г., со ссылкой на информацию от братьев Милютиных).
15. ГАРФ. Ф. 665. Оп. 1. Д. 13. Л. 27 об.–28; Ф. 678. Оп. 2. Д. 108. Л. 9 об.; Д. 102. Л. 10 об.; Д. 119. Л. 32 об., 33 об.
16. ОР РГБ. Ф. 265. Оп. 1. К. 142. Ед. хр. 12. Л. 29 об.
17. См. подробнее: Долбилов М. Д. Превратности кириллизации: Запрет

- латиницы и бюрократическая русификация литовцев в Виленском генерал-губернаторстве в 1864–1882 гг. //Ab Imperio. 2005. № 2. С. 274–276.
18. Северный Кавказ в составе Российской империи. М. 2007. С. 211–227.
19. Центральная Азия в составе Российской империи. М. 2008. С. 138–139.
20. Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». М. 1869. С. 523 (номер за 14 августа).
21. РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 138–138 об.
22. См. подробнее: Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М. 2010. Гл. 10.